

СИГНАЛ



Не бери трубку, когда звонят мёртвые

Борис Умуршатын

Сигнал

«Автор»

2026

Умуршатын Б.

Сигнал / Б. Умуршатын — «Автор», 2026

В забытом городке Блэк-Холлоу по вечерам из старых радиоприёмников звучат голоса мёртвых. Они зовут по имени — ласково, до последней интонации — тех, кто потерял любимых. И самые одинокие уже тянутся открыть окно навстречу зову. Под холмом, в древней могиле, дремлет то, что было здесь до людей. Оно не убивает — оно зовёт голосами тех, кого мы не смогли отпустить, и кормится горем и виной. Чтобы усыпить его, Саре предстоит спуститься под церковь, встать лицом к лицу со своим мёртвым и понять разницу между двумя словами — «прости меня» и «прощай». Тихий хоррор о горе, вине и любви, которая находит силы отпустить.

© Умуршатын Б., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Сигнал

Глава

СИГНАЛ

«Не бери трубку, когда звонят мёртвые»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — ШЁПОТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Голос в помехах

Городок Блэк-Холлоу, штат Мэн, никогда не значился на больших картах, и местные говорили об этом с той особой гордостью, какая бывает у людей, всю жизнь проживших в тени чего-то большего. «Нас нет на карте, — любил повторять старик Дельгадо в баре „Красный фонарь“, поднимая кружку, — а значит, и беде нас не найти». Он ошибался. Но узнать об этом ему предстояло только через два месяца — холодным октябрьским утром, босиком, на мокрой от росы траве собственного двора, когда за ним придёт голос его мёртвой жены.

А пока стоял сентябрь, и Дэнни Кроуфорду было одиннадцать лет, и он ещё не знал, что горе умеет говорить по радио.

Дом Кроуфордов стоял на Ольховой улице — узкий, двухэтажный, с облупившейся синей краской, которую отец обещал обновить ещё три лета назад. Отец много чего обещал. Отец уехал два года назад, «искать работу в Портленде», и с тех пор дом медленно ветшал, будто без хозяина потерял смысл держаться.

Дед умер в марте. Инсульт, во сне — «лёгкая смерть», как сказала мама, хотя Дэнни не понимал, что лёгкого может быть в том, чтобы просто перестать быть. После похорон вещи деда снесли на чердак и накрыли простынями, и весь дом словно затаил дыхание — как затаивают его в комнате, где кто-то только что перестал дышать.

Дэнни поднялся туда в субботу, когда мама ушла на смену. Он не собирался — искал старые комиксы, что дед хранил в жестяной коробке из-под печенья. Но чердак пах пылью, деревом и чем-то ещё — знакомым, дедовым, — и Дэнни задержался.

Простыни в полумраке напоминали привидений из детской книжки. Он стянул ближайшую — и замер.

Радиоприёмник.

Тяжёлая коробка из тёмного дерева, с латунными ручками, стёртыми до блеска чужими пальцами. Дед называл его «старина Филко» и не расставался с ним, сколько Дэнни себя помнил. По вечерам дед крутил ручку настройки и слушал — не музыку, не новости, а сам шум между станциями. Однажды Дэнни спросил зачем. Дед долго молчал, а потом сказал странное: «Слушаю, не зовёт ли кто, малыш. Всегда слушаю, не зовёт ли кто».

Тогда Дэнни не понял. Теперь — тем более.

Он провёл пальцем по латунной ручке, оставив в пыли блестящую дорожку. Приёмник казался тёплым, хотя на холодном чердаке всё было ледяным. Дэнни списал это на воображение — в одиннадцать лет ты уже учишься главному ремеслу взрослых: строить стену из разумных объяснений и прятаться за ней от того, чего боишься.

Он крутанул ручку.

Приёмник кашлянул пылью и ожил — сначала тишиной, глубокой и выжидающей, потом шипением. Тем белым шумом, что похож на дождь по жестяной крыше далёкой летней ночью. Дэнни повёл стрелку по светящейся шкале. Проповедник обещал адское пламя всем, кто не покается до заката. Кантри — женщина пела про грузовик и разбитое сердце. Снова пропо-

ведник, тот же или другой, — их всегда было много в эфире Мэна, будто здесь спасение продавали оптом.

А потом, между двумя станциями, в самой сердцевине помех, голос произнёс:

— Дэнни.

Мальчик замер. Рука на ручке застыла. Сердце сделало один тяжёлый удар и пропустило следующий.

— Что? — прошептал он и тут же почувствовал себя глупо. Разговаривать с приёмником — всё равно что с чайником. Взрослые смеются над такими.

Никто не засмеялся.

— Дэнни Кроуфорд, — повторил голос. Ровный, спокойный, почти ласковый — так говорит тот, кто знает что-то, чего не знаешь ты, и не спешит делиться. В нём не было угрозы. Именно это и было страшнее всего. — Ты слышишь меня. Я знаю, что слышишь. Не притворяйся, что нет.

Дэнни хотел убрать руку и не смог. Пальцы будто примёрзли к тёплой латуни.

— Кто здесь? — выдавил он.

— Друг, — сказал голос. И помолчал, давая слову осесть. — Тебе ведь одиноко, правда, Дэнни? С тех пор как ушёл папа. С тех пор как умер дед. Мама всё время на работе, а ты всё время один в этом большом пустом доме. Я знаю, каково это. Я тоже один. Очень-очень давно. Дольше, чем ты можешь вообразить.

По щеке Дэнни скатилась слеза, и он не понял когда. Голос говорил правду. Вот что было хуже всего — голос говорил чистую правду, и от этого хотелось слушать дальше.

Внизу хлопнула входная дверь.

— Дэнни! — Голос мамы, настоящий, живой, пробил чердачную тишину. — Я дома! Ты где?

Дэнни вздрогнул и оглянулся на квадрат люка. Когда он повернулся обратно, приёмник шипел пустотой. Только белый шум. Только дождь по жестяной крыше — которого не могло быть, потому что за круглым окошком стоял сухой, безоблачный, золотой сентябрьский вечер, и ни единой тучи не было на всём небе Мэна.

— Иду! — крикнул он, и голос его сорвался.

Он выключил приёмник. Руки дрожали так, что он не с первого раза попал по кнопке. Накрыв «старину Филко» простынёй — торопливо, будто прятал что-то живое, — и полез вниз, к маме, к свету, к запаху жареной картошки и обычному, безопасному миру, где радио не знает твоего имени.

Он не рассказал ей. Некоторые вещи, если произнести их вслух, становятся настоящими, — а он ещё надеялся, что почудилось. Усталость. Воображение. Старая техника ловит чужие переговоры — вон в библиотечной книжке писали, приёмники цепляют то полицейскую волну, то болтовню дальнотойщиков. Может, какого-то водителя и вправду зовут Дэнни.

Он строил стену. Кирпичик за кирпичиком. Как учат взрослые.

Той ночью он долго не мог уснуть. Лежал, глядя в потолок, за которым, чуть выше, в темноте чердака, стоял накрытый приёмник. И всё казалось: сквозь перекрытия, тихо-тихо, на самой грани слуха, доносится шёпот дождя по жестяной крыше.

Он ошибался, думая, что почудилось.

Это только начиналось.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Сара

Сара Кроуфорд знала о своём сыне две вещи, в которых была абсолютно уверена, и обе оказались неправдой.

Первая: что она видит его насквозь. Он был открытой книгой — её Дэнни, тихий, серьёзный мальчик, который в одиннадцать читал больше книг, чем она за всю жизнь, и задавал

вопросы, от которых у взрослых сводило зубы. «Мам, а куда девается то, чем мы были, когда мы становимся кем-то другим?» Такое. Она думала, что знает каждую его мысль раньше, чем он её додумает.

Вторая: что она защищает его, скрывая правду об отце.

О первом она узнала, что ошибалась, в тот сентябрьский вечер, когда вернулась со смены и застала его на кухне — бледного, с картошкой на тарелке, к которой он не притронулся. Он посмотрел на неё так, будто хотел что-то сказать, и не сказал. Она списала это на переходный возраст. На тоску по деду. На тысячу обычных вещей, которыми взрослые заклеивают трещины в мире, чтобы не заглядывать внутрь.

О втором она узнает позже. Гораздо позже. И это будет стоить ей дороже, чем она могла вообразить.

А пока она стояла у раковины, отмывая с рук запах закусочной — жир, кофе и дешёвый лимонный моющий, — и смотрела на затылок сына, склонившегося над нетронутым ужином.

— Тяжёлый день? — спросила она.

— Нормальный, — сказал он, не поднимая глаз.

Ложь. Она знала, что ложь, но не знала о чём, и это её пугало. Раньше между ними лжи не было. Точнее — была только её собственная, большая, про Портленд, про «папа ищет работу», и Сара носила её как камень под сердцем уже два года, и камень с каждым месяцем становился тяжелее.

Потому что правда была в том, что Джек Кроуфорд не искал работу в Портленде.

Джек Кроуфорд не звонил, не писал и не возвращался, потому что в одну апрельскую ночь два года назад вышел из этого самого дома, сел в пикап, доехал до озера Стилл — и не доехал обратно. Пикап нашли через неделю на лесной дороге: пустой, с ключами в замке и открытой водительской дверью. Самого Джека не нашли никогда.

Шериф Мэйсон вёл дело полгода. Прочёсывал лес, драгировал озеро, слал ориентировки. Ничего. Ни тела, ни следов, ни записки. Взрослый мужчина просто вышел из мира, как выходят из комнаты, забыв закрыть дверь.

Официальная версия: ушёл. Бросил семью. Такое случается, шериф, вы же знаете, мужики иногда ломаются.

Но Сара не верила в это ни секунды. Джек любил Дэнни так, как редко умеют мужчины, — глупо, беззаветно, с фонариком под одеялом и рассказами про космос до полуночи. Он бы не ушёл. Он бы не смог.

И потому она соврала сыну. «Папа уехал» — это была рана, которую можно перевязать надеждой. А «папа исчез в ночи, и никто не знает куда» — рана, которая не заживает никогда.

Она думала, что бережёт его.

Она не знала, что где-то в темноте что-то уже нашло эту ложь — как акула находит каплю крови в океане — и медленно, терпеливо плыло на её запах. Потому что ложь во спасение — тоже вид горя. А оно чуяло горе за много миль.

— Дэнни, — сказала она, вытирая руки. — Если что-то случилось... ты ведь мне скажешь? Что угодно. Даже если кажется, что это глупость.

Он поднял на неё глаза. И на одно мгновение — всего на одно — ей показалось, что за детским лицом мелькнуло что-то очень старое и очень испуганное.

— Мам, — сказал он тихо. — А дедушкино радио. Оно... работает?

Станный вопрос. Не тот, которого она ждала.

— Наверное. А что?

— Ничего. — Он опустил взгляд. — Просто спросил.

Сара постояла ещё немного, чувствуя, как между ними растёт что-то невидимое, холодное. Потом заставила себя улыбнуться, взъерошила ему волосы — он даже не отстранился, как обычно, и это напугало её сильнее всего — и пошла спать.

Ночью ей снился Джек. Он стоял у озера, спиной к ней, по колено в чёрной воде, и она звала его, а он не оборачивался. А когда наконец обернулся — у него не было лица. Только рот. Огромный, дышащий рот, растянутый в улыбке.

Слишком широкой. Слишком много зубов.

Она проснулась в поту, в три часа ночи. В доме было тихо. И в этой тишине, откуда-то сверху, из-под самой крыши, ей послышался — на секунду, на половину вдоха — тихий шёпот дождя по жестяной крыше.

За окном стояла сухая, звёздная, безоблачная ночь.

Сара натянула одеяло до подбородка и долго лежала без сна, слушая тишину.

И тишина, ей казалось, слушала её в ответ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. То, что просит голос

Голос вернулся через три дня.

За это время Дэнни успел построить крепость из разумных объяснений и почти в неё поверил. Он даже поднялся на чердак среди бела дня, при полном солнце, и включил приёмник нарочно — доказать себе, что там ничего нет. Приёмник послушно выдал проповедника, кантри и прогноз погоды. Ни голоса, ни имени, ни дождя. Дэнни выключил его почти разочарованно. Видишь, сказал он себе. Померещилось.

Крепость рухнула в четверг вечером.

Мама снова была на смене. Дэнни делал уроки на кухне, когда услышал сверху щелчок — тихий, отчётливый щелчок кнопки, — и приёмник на чердаке включился сам.

Карандаш замер.

Сверху полилось шипение. Дождь по жестяной крыше, ползущий сквозь перекрытия, заполняющий дом.

— Дэнни, — позвал голос откуда-то с чердака, мягко, приглашающе. — Поднимись. Нам надо поговорить.

Всякий взрослый сбежал бы из дома. Но Дэнни было одиннадцать, а в этом возрасте страх и любопытство сплетены так туго, что не разорвать. И ещё голос сказал в прошлый раз про папу. А Дэнни хотел — отчаянно, безнадежно хотел — узнать про папу хоть что-нибудь.

Он поднялся.

Приёмник светился в полумраке жёлтым глазом шкалы. Простыня сползла с него сама собой. Дэнни сел напротив, на пыльные доски, подтянув колени к груди.

— Ты настоящий, — сказал он. Не вопрос. Утверждение.

— Настоящее всего, что ты знаешь, — отозвался голос. — И вот что скажу тебе, Дэнни, потому что мы друзья, а друзья не врут. Твой отец не уехал в Портленд. Тебе солгали.

У Дэнни перехватило горло.

— Мама не врёт, — прошептал он.

— Мама тоже не знает всей правды. Но я знаю. Хочешь узнать, где он?

— Ты врёшь.

— Я никогда не вру, — сказал голос с такой спокойной, каменной уверенностью, что верилось помимо воли. — Врут они. Из любви, из страха — но врут. А я скажу правду. Твой отец не бросал тебя. Его забрали. И он до сих пор ждёт. Ждёт, что кто-нибудь откроет ему дверь.

— Какую дверь?

— Любую, — сказал голос ласково. — Окно. Дверь. Что угодно. Ему холодно там, где он сейчас. Холодно и одиноко — совсем как тебе. Открой одно окно, Дэнни. Всего одно. И он вернётся. Разве ты не хочешь, чтобы папа вернулся?

И самое страшное было не в голосе.

Самое страшное — как сильно Дэнни хотел ответить «да».

Слово поднялось в нём горячей волной — из всех вечеров без фонарика под одеялом, из всех историй про космос, которые больше некому рассказывать, из пустого места за столом и маминых слёз по ночам. «Да». Всего два звука. Открой окно — и всё станет как раньше.

Дэнни открыл рот.

И вспомнил мамин крик в три часа ночи, который висел в доме все эти дни, как запах. И дедовы слова: «Слушаю, не зовёт ли кто, малыш».

Дед слушал. Всю жизнь. Не музыку — а не зовёт ли кто.

Потому что знал, что зовут.

Дэнни закрыл рот. Медленно встал. Ноги дрожали.

— Если ты можешь его привести, — сказал он тонким, но не сломавшимся голосом, — почему сам не откроешь окно?

Долгая тишина. Дождь в динамике стих совсем — впервые. И когда голос заговорил снова, из него ушла вся ласка. Осталось что-то древнее, голодное, бесконечно усталое — и оттого ещё более страшное, потому что в усталости этой было что-то почти человеческое.

— Умный мальчик, — сказал голос. — Слишком умный. Твой дед тоже был умный. Смотри, чем это для него кончилось. — Пауза. — Ничего. У нас с тобой ещё много вечеров впереди, Дэнни Кроуфорд. Много-много долгих вечеров. Я умею ждать. Я жду дольше, чем стоит твой город. Рано или поздно ты откроешь окно. Они все открывают. В конце концов все хотят, чтобы к ним кто-нибудь вернулся.

Приёмник щёлкнул и погас сам собой.

Дэнни скатился с лестницы, захлопнул люк, придавил его коробкой с книгами и до прихода мамы просидел на кухне при включённом свете, обхватив себя руками и повторяя одними губами:

— Я не скажу «да». Я не скажу «да». Я не скажу «да».

Он не знал ещё, что уже не он один слышит голос.

Что по всему Блэк-Холлоу, в каждом доме городка — в приёмниках, телефонах и гудящих в ночи холодильниках — тихий терпеливый голос находил самую глубокую рану в каждом сердце. И начинал, капля за каплей, вливать в неё одно и то же обещание.

Останься со мной. Я так один.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. Шериф Мэйсон

Хэнку Мэйсону было пятьдесят восемь лет, и последние девятнадцать из них он спал плохо.

Дело было не в работе. Работа в Блэк-Холлоу была тихой до зевоты: пьяная драка в «Красном фонаре» по субботам, угнанный по глупости трактор раз в год, подростки, бьющие бутылки на заброшенной лесопилке. За четверть века службы он вынимал табельное оружие из кобуры дважды — и оба раза стрелял в воздух. Город спал на солнце, как старый пёс, и Мэйсон любил его именно за это.

Плохо он спал из-за Кэрл.

Девятнадцать лет назад Кэрл Мэйсон ушла из его жизни зимним вечером — на озере Стилл, том самом, — и Мэйсон так и не простил себе того, что случилось. Не «не удержал». Хуже. Гораздо хуже.

Он никому не рассказывал правды. Ни тогда, следовательно из округа, ни потом — за девятнадцать лет ни одной живой душе. В протоколе значилось: «несчастный случай на воде, лодка перевернулась, миссис Мэйсон утонула, тело извлечено на третьи сутки». И всё. Чисто. Правдоподобно. Все посочувствовали молодому шерифу, потерявшему жену, и никто не спросил лишнего.

А правда была та, которую Хэнк Мэйсон носил в себе, как осколок под сердцем, девятнадцать лет.

В тот вечер он был пьян.

Не слегка — по-настоящему, тяжело, зло пьян, как умел пить в те годы, до того как завязал навсегда. Они с Кэрол поругались, он уже не помнил из-за чего, — из-за какой-то ерунды, из тех, что супруги забывают наутро, — и он назло ей сел на вёсла, хотя она просила не выходить на воду в таком виде. «Хэнк, ты пьян, не греби, вернёмся». А он грёб. Из упрямства, из злости, чтобы доказать что-то, чего теперь и не вспомнить. И на середине озера он сделал неловкое, дурацкое, пьяное движение — качнул лодку, потерял весло, дёрнулся за ним, — и лодка перевернулась.

Вода в апреле была ледяная.

И он — молодой, сильный, но пьяный до бесчувствия — не смог. Он барахтался, хватал воздух, звал её, а она была рядом, в двух гребках, и звала его: «Хэнк! Хэнк, я не могу, Хэнк, помоги!» — а он не мог доплыть эти два гребка. Ноги не слушались. Руки не слушались. Виски, которое он влил в себя назло ей, тянуло его вниз и не пускало к ней. Он видел её лицо в чёрной воде — совсем близко, — и не смог. Не догрёб. Не спас.

Его самого вынесло к берегу — потом, случайно, полумёртвого. А Кэрол вода забрала.

Он был пьян на вёслах. Он перевернул лодку. Он не спас её, потому что не мог грести. Это он её убил — так же верно, как если бы держал под водой своими руками.

Вот почему Хэнк Мэйсон не брал в рот ни капли девятнадцать лет — накрывал стакан ладонью и говорил тихо: «Не пью. Девятнадцать лет как не пью», и такое делалось у него лицо, что переспрашивать не тянуло. Вот почему он объезжал озеро Стилл за версту. Вот почему её фотография лежала в верхнем ящике стола — лицом вниз. Смотреть он не мог: с фотографии на него глядело смеющееся живое лицо, которое он утопил своими руками. А выбросить не хватало сил — это было бы последним предательством.

Он жил с этим один. Молча. Девятнадцать лет.

Именно это и делало его лёгкой добычей, хотя понял он это слишком поздно. Оно любит тех, кто хранит фотографии лицом вниз. Оно любит тех, кто носит в себе несказанное — не горе даже, а вину, потому что вина держит крепче горя. Горе можно отпустить. Вину — не отпускают. Вину искупают. А искупить смерть невозможно, и потому виноватый привязан к своему мёртвому навсегда, надёжнее любой цепи.

Оно чуяло Хэнка Мэйсона все эти годы, как чуяло Сару. Просто ждало своего часа.

Но старая боль была обжитой, привычной. С ней он умел жить — если это можно назвать жизнью.

С тем, что началось в конце сентября, жить он не умел.

Первой пришла миссис Гэннон — маленькая, сухая, в церковном платке. Хелен, его помощница, проводила её в кабинет с таким лицом, будто извинялась заранее.

— Шериф, — сказала старуха, складывая руки на сумочке, — запишите сразу: я в здравом уме. В полном здравом уме. Прежде чем я начну — запишите.

— Записал, — серьёзно ответил Мэйсон. Он умел говорить со стариками. Полгорода были стариками. — Что стряслось, Марджори?

— Радио в церкви со мной разговаривает. — Она увидела его лицо и заторопилась: — Не проповедник. Не станция. Оно. Голосом моего Уолтера. А Уолтер, шериф, помер девять лет назад. Рак. Я держала его руку до последнего вздоха.

Мэйсон отложил ручку.

— И что он говорит?

— Что ему одиноко, — прошептала она, и глаза налились слезами. — Что он ждёт. Что надо только открыть дверь — и мы снова будем вместе. — Костяшки на сумочке побелели. — И знаете, что страшнее всего? Я чуть не открыла. Стояла ночью у церковной двери, с ключом в руке, и чуть не впустила. Меня спас колокол. Кто-то ударил в колокол — и я очнулась, будто с меня сдёрнули одеяло.

— А кто звонил-то в такой час?

Старуха посмотрела на него странно.

— В том и дело. Церковь заперта. Отец Гэбриэл спал. Верёвка внизу — никого. Колокол звонил сам. — Она перекрестилась. — Будто кто-то не дал мне открыть. Будто кто-то за меня заступился.

Мэйсон записал всё. Слово в слово. Он не верил ни единой букве — тогда ещё не верил, — но двадцать пять лет службы вбили в него правило: записывай даже бред. Особенно бред. Иногда бред — это правда, которая ещё не нашла нужных слов.

Через два дня пришёл Пит Дельгадо — с той же историей, только его звала покойная жена, Марта.

Через четыре — молодая пара с Мэйпл-стрит. Их звал ребёнок. Тот, которого они схоронили прошлой зимой.

Мэйсон стоял у карты города на стене участка и чувствовал, как по спине ползёт холодок — тот самый, что он не знал уже девятнадцать лет.

— Хелен. Скажи честно. Что думаешь?

Хелен Ортис — тридцать четыре года, единственный на округ помощник — оторвалась от бумаг. Она верила в баллистику, отпечатки и вещдоки, и ни во что больше. Мэйсон это в ней ценил: кому-то в участке надо держаться земли.

Она пробежала глазами столбик имён.

— Думаю, у нас полно одиноких стариков. Осень, темнеет рано, у людей обостряется. Гэннон восемьдесят один. Дельгадо под восемьдесят. Пара потеряла ребёнка — им сейчас что угодно почудится. Массовая истерия, Хэнк. Один рассказал, второй услышал, третьему приснилось. Городок маленький — слух расходится, как круги по воде.

— А колокол, что звонит сам в запертой церкви?

Она чуть запнулась.

— Ветер. Или мальчишки. Найду — уши оторву.

Мэйсон кивнул. Хорошая версия. Разумная. Он бы и сам за неё держался — если бы не одно.

Прошлой ночью его собственный телефон зазвонил в три часа. Он снял трубку — и сквозь помехи услышал голос Кэрл. Впервые за девятнадцать лет. Не «пусти меня». Хуже. Оно знало, чем взять именно его, — не тоской, а виной.

«Хэнк, — сказала она из трубки, и голос был точь-в-точь как тогда, в чёрной воде. — Хэнк, ты был пьян. Ты помнишь? Ты не догрёб. Ты меня бросил тонуть. — Пауза. — Иди ко мне, Хэнк. Здесь, в холоде, мы будем квиты. Ты задолжал мне. Иди и заплати».

И старый шериф, что четверть века держал этот город в узде, сидел на краю кровати в темноте, с трубкой у уха, и по щекам его текли слёзы, и он был в одном слове от того, чтобы сказать: «Да. Да, любовь моя. Прости меня. Я иду. Я задолжал».

Его спас будильник. Дешёвый, дурацкий будильник, который он забыл переставить, вдруг затрезвонил на тумбочке — живой, резкий, настоящий звук, — и наваждение слетело. Мэйсон швырнул трубку так, будто она обожгла ему ладонь.

Хелен он не сказал. Не потому, что стыдился призраков. А потому, что понял вещь, от которой стыла кровь.

Оно знало про Кэрл. Знало не только, что она мертва, — знало *как*. Знало про пьяные вёсла, про два непройденных гребка, про то, что Хэнк Мэйсон её убил. Оно било прямо в вину — точно, как хирург скальпелем. И слово, которое просилось у него с языка в ту ночь, было не «здравствуй, любимая». Было «прости меня».

А истерия не знает, что у тебя в верхнем ящике стола лежит фотография лицом вниз. И почему именно лицом вниз.

— Хелен, — сказал он тихо. — Сделай одолжение. Подними весь архив по городу. Старые дела, газеты, церковные книги. Особенно — пропавшие без вести. За сто лет.

— За сто? Хэнк, это же...

— За сто. И ещё. Найди мне всё, что осталось от Билла Тэлбота.

Она замерла.

— От пожарного? Что сгорел в тридцать четвёртом?

— От пожарного, — сказал Мэйсон, глядя в карту, где красных кнопок было уже куда больше, чем ему хотелось. — Чутьё говорит: он что-то знал. И он, похоже, единственный в этом городе, кто уже воевал с тем, с чем нам теперь воевать.

За окном участка на проводах сидели вороны. Много ворон — больше, чем он помнил за все свои годы. Они молчали и смотрели на город немигающими глазами.

Будто и они это слышали.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Пит Дельгадо открывает дверь

Пит Дельгадо продержался одиннадцать ночей.

Одиннадцать ночей он слушал голос Марты в старом трубчатом радио на кухне — том самом, под которое они танцевали на свадьбе сорок два года назад, под песню, которую он давно забыл, а голос напомнил. Одиннадцать ночей Марта звала его — и голос был точь-в-точь как в тот последний хороший год, до того как болезнь съела её до неузнаваемости: молодой, тёплый, смеющийся.

— Пити, — говорила она. Только она называла его Пити — больше никто, никогда. — Пити, старый ты дурак. Что ты сидишь один в холодном доме? Я тут. Совсем рядом. Между нами одна дверь. Открой — и я обниму тебя, как обнимала сорок два года.

И Пит плакал. Каждую ночь плакал, восьмидесятилетний, у радио на кухне.

Днём он держался. Днём даже сходил к шерифу и всё честно рассказал, и Мэйсон записал, и стало чуть легче — будто разделил ношу. Днём Пит твёрдо знал: Марта умерла девять лет назад, он сам нёс гроб, сам бросил первую горсть земли, и мёртвые не звонят по радио.

Но ночи были длинные. А одиночество — длиннее ночей.

На одиннадцатую ночь голос сменил ласку на слёзы.

— Мне так холодно здесь, Пити. Ты не представляешь, как холодно и темно. Я думала, ты любишь меня. Думала, ты придёшь. Сорок два года — и ты бросишь меня мёрзнуть в темноте одну? Всего одна дверь. Неужели я не стою одной двери?

И Пит Дельгадо — который завтра днём снова стал бы разумным стариком, знающим, что мёртвые не возвращаются, — встал в три часа ночи, босиком, в пижаме, и пошёл к двери.

— Иду, родная, — сказал он в тёмный дом. — Иду. Прости старого дурака.

Он отодвинул засов. Повернул ручку.

И удивился только одному: как разом, едва щёлкнул замок, стих голос Марты. Совсем. Будто его и не было. Будто он был нужен ровно до этой секунды — до щелчка — и ни мгновением дольше.

Дверь распахнулась внутрь — хотя открывалась всегда наружу. И за ней не было ни крыльца, ни двора, ни звёздного неба Мэна. За ней стояла темнота — не ночная, другая: плотная, дышащая. Из неё потянуло холодом, тем самым, о котором говорила Марта. Настоящим. Могильным.

И в темноте что-то было. Огромное. Терпеливое. Оно ждало сорок два года — нет, куда дольше, — так долго, что забыло, каково это: не ждать.

Пит не закричал. Он даже, кажется, улыбнулся — потому что в последний миг ему помешлось в темноте что-то родное. Что-то, что могло быть Мартой, если очень захотеть увидеть.

Утром соседка, миссис Кроу, нашла дверь распахнутой настежь. Тапки Пита стояли на пороге — аккуратно, носками наружу, будто он вот-вот вернётся. В доме было пусто и очень холодно. На кухонном столе стояли две чашки чая — обе полные, обе давно остывшие. Две. Хотя Пит девять лет жил один.

Радио тихо шипело белым шумом. Дождём по жестяной крыше.

Самого Пита Дельгадо не нашли никогда. Как не нашли когда-то Джека Кроуфорда. Как не найдут ещё многих, прежде чем всё кончится.

Мэйсон приехал по вызову, увидел две чашки, дверь, распахнутую внутрь, тапки носками наружу — и долго молчал. Потом сказал Хелен, тихо, чтобы не слышала рыдающая на крыльце миссис Кроу:

— Он не ушёл. Не пиши «ушёл». Его позвали — и он открыл дверь.

— Хэнк, в рапорте нельзя написать...

— Знаю. В рапорте напишем что положено. Но ты и я будем знать правду. — Он посмотрел на неё, и в глазах его было что-то, отчего ей впервые по-настоящему похолодело внутри. — Дельгадо был одиннадцатым, кого звали. И первым, кто открыл. А теперь запомни, Хелен. Оно берёт по одному. Всегда по одному. Ночью, тихо, когда рядом никого. Никогда при свидетелях, никогда толпой.

— И что это значит?

— Что это не зверь, — сказал Мэйсон. — Зверь жаден, зверь рвёт стадо. А это... это не голод. Оно ищет что-то одно в каждом из нас по отдельности. Ему нужен не человек. Ему нужно то, что у человека внутри. И оно готово ждать сколько угодно, лишь бы это получить. — Он посмотрел на две остывшие чашки. — Сорок два года ждало. И дождалось.

Он ещё не знал, насколько был прав. И не знал, что оно и его ждёт — уже девятнадцать лет, терпеливо, как ждало Пита. Но был уже совсем близко.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Отец Гэбриэл и мальчик по имени Томми

Отец Гэбриэл служил в церкви Святого Причастия двадцать лет и считал себя человеком крепкой, спокойной, немного скучной веры — той, что не ждёт чудес и не боится дьявола, потому что видит его каждый день в мелких людских слабостях, а не в серном пламени.

Осенью его вера дала первую трещину.

Началось с колокола. Дважды за две недели старый колокол звонил среди ночи — сам, при закрытых дверях, при пустой верёвке. Отец Гэбриэл поднимался с фонарём, проверял механизм, ветер, крепления — ничего. А колокол будил полгорода, и звон, как он узнал потом, всякий раз приходился на ту минуту, когда кто-нибудь стоял у своей двери с рукой на засове, готовый впустить своего мёртвого.

Колокол будил их. Колокол их спасал.

Как — он не понимал. Но был не дурак и умел складывать два и два. К концу сентября он завёл привычку не спать по ночам, а сидеть на колокольне с чётками и слушать город. И когда по наитию, по холодку в груди, ему чудилось, что где-то в темноте кто-то тянется к дверной ручке, — он дёргал верёвку сам. И звон летел над крышами. И кого-то, он верил в это всем сердцем, этот звон возвращал с порога.

Всех он не успевал. Пита Дельгадо не успел — той ночью его сморил сон, он проснулся от собственного колокола под утро, когда всё было кончено. Этого он себе не простит.

Но был один, кого он успел. И звали его Томми.

Томми Броуди было девять, и он был сыном городского пьяницы. Отца его, Рэя Броуди, весь Блэк-Холлоу знал как человека, что пропил ферму, пропил жену (та уехала, когда Томми было четыре) и медленно пропивал теперь сына — не деньгами даже, а тем невниманием, что хуже побоев. Томми рос как трава при дороге: сам себя кормил, сам укладывал, сам себе был и отцом, и матерью.

А потом голос нашёл и его.

Только Томми оно звало не мёртвым — мёртвых у мальчика, по счастью, ещё не было. Его звало матерью. Живой. Уехавшей.

— Томми, — шептало радио в углу холодной комнаты голосом, которого он почти не помнил, но узнал сразу, всем нутром. — Томми, малыш, это мама. Я вернулась за тобой. Я всё поняла, я была неправа. Открой окошко,пусти маму — и мы уедем далеко-далеко, где папа нас не найдёт. Хочешь к маме, Томми?

И Томми, конечно, хотел. Больше всего на свете. Девятилетний мальчик, которого никто никогда не звал «малыш».

Отец Гэбриэл нашёл его в ту же ночь — не по колоколу даже, а потому что не спалось, вышел пройтись, увидел свет в окне броудиевской развалюхи, и что-то толкнуло его в грудь. Он вошёл без стука — дверь у Броуди, как всегда, была не заперта — и увидел: Томми стоит на табурете у окна, тянется к шпингалету, а из радио льётся ласковый женский голос и белый шум, дождь по жестяной крыше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.